

Татьяна Даглович

ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕРВОЙ, НОЯБРЬ,  
УИК-ЭНД

Последние минуты перед прибытием поезда тянутся скучно и тревожно, как перед экзаменом. Катя замерзла за ночь в купе. Не пыталась унять озноб. Кое-как накрутилась поверх вчерашнего, не умывалась — в туалете еще холоднее и отвратительно. Надела шубу, стояла у окна, через мутное стекло наблюдая взлеты и падения проводов. Ритм перестука колес напоминал ритм какого-то стихотворения, то ли Блока, то ли Белого, но восстановить текст не получалось, хотя он зудел на краешке мозга; в голове всплывала только схема чередования ударных и безударных слогов, прямо из учебника. Промелькнули дома с серыми стеклами, виадук, потом снова словно бы степь, так что непонятно, уже въехали в город или еще нет.

Здание вокзала возникло внезапно, маленькое, обшарпанно-желтое, с названием на украинском языке. Катя в панике сжала ремешок сумки: стоянка три минуты, не остаться в поезде. И увидела на перроне Ленку. Совсем не изменилась Ленка. Или так кажется через грязное стекло. Все в той же дерматиновой куртке, обиженно смотрит на ползущие перед ней вагоны, жует.

Они оказались друг напротив друга, только Катя выше — в вагоне. Глаза встретились, поезд дернулся и стал неохотно, как если бы взгляд их был твердым.

Катя рванулась к тамбуру, сбивая сонную проводницу, скорее, скорее. Часы на здании вокзала показывали четверть седьмого, поезд приехал на пять минут раньше, если часы не стояли.

Ленка сразу бросилась ей на шею, сразу переменялась. Обиженное молчание лопнуло, обветренные губы горели, она начала тараторить, жестикулировать, выхватила у Кати сумку, Катя вернула. Немного коробило от местных словечек, будто сама не отсюда. «Как классно, что ты вырвалась, приехала», — раз за разом, лейтмотивом в Ленкином потоке сознания, и Катя не сказала то,

что думала, то есть: «А ты считаешь, что я бы так смогла — просто не приехать, такой ты считаешь меня?», а сказала: «А ты считаешь, я на фэке так часто появляюсь? Что я, первокурсница, вчера стипенду дали, я домой, шмотки в зубы — и на вокзал...»

Блудные вокзальные собаки провожали желтыми глазами их, вцепившихся друг в дружку, еще не уверенных, что встреча материальна.

Серое непроснувшееся небо сыпалось какой-то мелкой дрянью, полудождем-полуснегом, на асфальте слякоть. Странно, но, выйдя из поезда, Катя перестала дрожать, ей стало тепло и легко, она прятала нос в щекочущем мехе шубы. С удовольствием уюта и женственности скашивала глаза на мелкие капли, зависающие на ворсинках.

На остановке не было никого, кроме Кати и Ленки. Утро пятницы, час пик в эту сторону — к вокзалу, к центру. Им в другую. Автобус, еще теплый от потной толпы, впустил их. Подошла толстая кондукторша. «За проезд, девочки!» Катя полезла в сумку за портмоне.

— Кать, успокойся. Что я — копейки эти не дам.

Ленка достала из кармана и протянула кондукторше страшно измятую купюру, та взяла, отсчитала мелочью сдачу и отошла от них, устало качая обтянутыми гамашами бедрами, в своем печальном фартуке с деньгами. Автобус тронулся.

— Ты как? — спросила Катя через некоторое время.

Ленка в ответ поморщилась.

— Слушь, давай я потом, дома все расскажу. Давай, ты рассказывай, потому что эти письма, ты же в них ничего толком не пишешь, одни цитаты, чему вас только там учат, на вашем ромгерме.

Катя узнавала ее в каждом слове, в каждом движении. Резкие, но незавершенные жесты, рваные интонации, отсутствие шапки и перчаток в эту дурную погоду.

— А что у меня может быть? Учусь, учусь. Курсовую мучаю, или она меня. С Вадимом вот опять поссорилась.

— Я всегда говорила, он тебе не пара.

— Ой, у нас раз в месяц эти ссоры, ну и что, мы уже о свадьбе подумываем, между прочим.

— Ты что, серьезно?

— Да нет, пока нет. А чего от добра добра искать? В нашем женском монастыре прынцы не водятся!

— О, если уже ты говоришь, что тебе трудно кого-то искать, с твоими-то внешними данными, то я уже не знаю!

Они расхохотались, как хохотали раньше: во весь голос, в два полных голоса.

Потом говорили об общих знакомых и друзьях. Как бы то ни было, Катя тоже выросла здесь. А остался мало кто, все разбежались, география от Пекина до Бостона, не говоря о местных приличных городах. Потом о Ленкиной затяжной ссоре с родными, хотя эту скользкую тему Катя затрагивала невесомо, осторожно: слишком близка другая, еще более скользкая тема, поскольку ненешься на ней — упадешь — не встанешь...

Катя обожала Ленку с детства, со второго класса, с первого взгляда, и знала ее хорошо. Нельзя сказать, чтобы она не ожидала от Ленки такого, но одно дело — поэтический треп под рок-музыку, подростковые игры, другое дело — узнать, что... Ей было мерзко формулировать, даже мысленно.

Наконец они подошли к подъезду, Ленка тащит ее наверх, открывает дверь ключом. Катя чувствует: что-то неуловимо изменилось в захлавленной квартире с тех пор, как она была в последний раз.

— Вот вышвырнут меня скоро, буду на вокзале жить, — смеется Ленка.

— Нет, я тебя к себе заберу.

— Вытирай ноги, я с утра убирала.

— Когда — с утра? Ты что, среди ночи вставала?

— Ничего, я со своей работкой уже нормально спать отвыкла. Иди, руки мой, будем завтракать.

Катя сняла шубу, привычным движением повесила на крючок, на который вешала свои куртки и дубленки всегда, когда бывала у Ленки. Сколько раз она бывала здесь. Знала запах, знала каждое пятнышко на обоях, каждый гвоздь, а гвоздей было много: хозяйка квартиры, бабулечка-вдова, забрала с собой репродукции, а Ленка с ее гражданским мужем Игорем так ничего и не повесили. Ноги все-таки замерзли. Мерзкая слякоть.

Ленка поставила на газ чайник и сковороду, разбила четыре яйца — завтрак им, и скорлупки с синими печатями бросила в мусорное ведро.

Сидели за столом молча, пока шипела яичница. Катя положила озябшую руку на Ленкину и смотрела, как смешно получилось: ее собственные пальцы с перламутровым маникюром перемешались с Ленкиными тонкими пальцами, на которых торчали широкие костяшки, и ногти, жесткие, но какие-то детские, с большими лунками, были неровно обрезаны. Катя усмехнулась про себя — она уже не помнила, есть ли у нее самой лунки на ногтях. Надо посмотреть, когда снимет лак.

Яичница готова, они опять болтали о чепухе, Ленка все время улыбалась, словно вдруг стала счастливой. Катя была счастливой. Потом пили чай.

Ленка рассказывала анекдот, она подперла подбородок рукой, рукав сполз. Катя вздрогнула, увидев рваную розовую полосу через запястье. Сердце упало — она больше не слушала, о чем говорит Ленка, и не была счастливой. Стало неуютно, языку — скользко, ей захотелось домой, в постель, лицом в подушку, включить телевизор, радио, пылесос, закрыть уши. Она вспомнила, для чего и почему приехала, и вспомнила, как ехать не хотелось. Как фальшивила в телефон этой Ленке, которая не знала, что она все знает. Ну, может не все. О Ленкиной попытке самоубийства.

Но Ленка не заметила, что Катя заметила, она все говорила, и Катя, до которой слова теперь не доходили из-за звона в ушах, смотрела на знакомое с детства лицо, оно почему-то совсем не изменилось со второго класса, и прическа не изменилась — вечный хвост из лохматых длинных волос. Смуглое лицо, которое при минимуме ухода можно сделать красивым, мимика которого неуловима, непрерывна: поток улыбок, слипшиеся от туши ресницы прячут и показывают глаза, то счастливые, то отчаянные, то злые, и Катя никак не может поймать момент смены выражений лица, и чем дольше она смотрит, тем ближе становится мир человека, к которому вплотную прожила десять школьных лет, за одной партой, боком, и чувствует, словно склоняются они друг к другу за партой, срастаются, и она в этом Ленкином мире. И ей, а не Ленке суждена вся мерзость будущего: прятать шрамы, ненавидеть лето и надеяться выйти замуж за зиму, пока носят длинный рукав. Быть окруженной любопытством и отвращением — тем любопытством и тем отвращением, благодаря которым сама Катя здесь.

Может, было бы лучше, если бы они могли поменяться. Катя — сильная личность, знает, чего хочет, и плевала на других, которые *enfer*<sup>1</sup> (о, милый Сартр!), а Ленка, этот мотылек пыльный, мало ей было по-другому себе жизнь коверкать!

Ленка между тем, сверкая белыми зубами в улыбках, так же радостно, как сплетничала об одноклассниках, говорила о финансовых своих проблемах.

— Вот дела такие, за квартиру с его зарплаты мы платили, а теперь одна я — не знаю что, я-то заплатить смогу, а на хавчик ни хрена не останется. Вот это дилемма, то ли не есть, то ли помещение не занимать. Короче, бомжевая жизнь ждет меня, пора приглядывать подвальчик поуютнее, зима грядет.

— А домой, ну, к маме, вернуться не думаешь? — спросила гадким от осторожности голосом.

— Так?! Ты же знаешь мою матушку, если вот так я вернусь, потому что прижало...

— М-да, она и выставить может...

— Ну, не драматизируй, не выставит, конечно. Но ты знаешь, тогда в сравнении уж подвальчик покажется раем.

И Ленка нараспев продекламировала:

— Жаль, нет милого, с которым бы в шалаш.

— Если бы не родаки... Я так бы хотела, чтобы ты у меня жила. Чтобы мы вместе жили.

— Курить будешь?

Катя кивнула, Ленка достала пачку дешевых сигарет.

— Катюш, ты извини, ночевать тебе одной придется. Я на день должна была сегодня, но я поменялась, на ночь пойду. Извини, что так получилось, но я сейчас с работой шутить не хочу... люблю дилеммы, не хочу терять.

— Я с тобой пойду!

— Не-не-не, там холодрыга, а ты не выспалась, и вообще. Я все равно буду дрыхнуть.

Уже год Ленка работала продавщицей в киоске, на всякой муре — сигаретах, пиве, жвачках. Она часто писала, как развлекает ее амбал-охранник, придурок, но с чистой душой, и как измывается хозяин — придирается к мелочам; вместе с Катей они пришли к выводу, что у хозяина к Ленке подсознательное сексуальное

<sup>1</sup>Ад (*фр.*).

влечение, с которым он сам не может смириться, так как привык потреблять только крашенных блондинок с грудями.

Ленка отвернулась к окну, стряхивая пепел в чашку из-под чая, на мокрый пакетик.

— Тебе, конечно, хочется знать, как все было, — внезапно сказала она и закашлялась. — Только за этим ты и приехала.

Потом хлопнула в ладоши, глаза ее снова разгорелись.

— Слушай, давай, может, и кроме чая выпьем, с утра, правда... Но в честь твоего приезда надо! Да? Отметить.

— Мне с поезда что-то не очень, — соврала. С алкоголем было бы легче.

— Ладно...

Дрянь, падавшая с неба, сгустилась, все больше походила на мокрый снег. Мокрый снегопад. Огонек сигареты отражался в потемневшем окне. Черный Ленкин затылок и контур тонкой руки.

И снова проснулось в Кате забытое: нежность и боль, радость: женское упоение страданием. Гибнет, гибнет, безнадежно гибнет. Захотелось смеяться.

— Катюша, милая, я-то знаю, что ты меня не осуждаешь, только ты меня и не осуждаешь. Ты же знаешь, как у нас все с Игорем было, ну ты ругала меня, правильно ругала. Я дала ему все, что могла, все, что было. Не потому что... Мне так удобно, я так привыкла. Я не знаю, как по-другому можно с женщиной... Боже, я не знаю, что говорить, да не смотри на меня так, а то я не смогу говорить, а ты же хочешь, чтобы я все подробно рассказала. Тебе же хочется узнать. Как это делается.

Не гася, она бросила сигарету в чашку, облокотилась на подоконник и больше не поворачивалась. Катя смотрела на затертую клеенку, где было нарисовано множество малюсеньких корзинок с фруктами. Она никогда не замечала раньше, что это не просто абстрактный узор.

— Ладно. В общем. Я давно знала, что он бросит меня, все к тому шло, с самого начала. Я сама все к тому вела. Почему-то. Почему? Ну, ты скажи, что на самом деле он мне не нравился, что жила я с ним, лишь бы жить с кем-то. Что он глупый для меня. Я-то умная. Начитанная. Почти как ты. Почему же ты молчишь? Не говоришь? А я, дура, считала, что он мне нравится, что мне хо-

рошо с ним. Мне твой Вадим тоже никогда не нравился, может, я просто ревновала тебя к нему, а ты меня. Ладно. По-любому, он ушел, и поступил нехорошо. Он бы мог просто уйти, или уйти к другой, пусть бы он просто ушел. — Темная спина на фоне окна ссутулилась.

Катя решила поднять глаза на эту спину. В зрачках по-прежнему кружились корзинки со скатерти. Они знали друг друга с детства, читали друг другу свои нелепые стихи, и нельзя было не понимать, что Ленка склонна к суициду, что она из тех, кто, даже если живет, живет плохо. Но знать — это одно. Узнать — другое.

— В тот вечер он пришел веселый. Мы выпили пива. Я хотела спать, жутко хотела спать, только с суток вернулась. Или он до того был пьяный? Точно, он до того был пьяный, а пива мы не пили, я была трезвая, только очень хотелось спать. Мы баловались, что-то кричали, не помню, или это он кричал. Из-за чего-то спорили, а потом он ударил меня. Знаешь, как ударил, совсем не больно, но заметно, будто хотел мне что-то сказать этим. Ясно, что хотел сказать, указать мне мое место. Я сразу замахнулась, но он засмеялся, сказал, что если я ударю его, он уйдет. Ты знаешь, я очень долго обдумывала и взвешивала. Но, наверно, даже нескольких секунд не прошло, потому что я не опустила руку, но и не помню, чтобы, как дура, стояла замахнувшись. Но я успела все взвесить и обдумать...

— И ты вмазала ему?

— Нет, сказала, чтобы он уходил. Я бы ударила его, но я не умею. Но если бы ты слышала этот его смех, видела его глаза. Нет-нет, он не был пьян. Ему настолько было плевать на меня. Как и всем остальным. Ему было все равно, остаться или уйти. Других что ли нет? Все равно. Я его обидела, вот он и ушел. Как все, кроме тебя. Он плюнул на меня, как на мелкую неприятность.

Она запнулась, повернулась к Кате, нахмурилась, заметив, что та плачет. Без слез, без единого звука, давась воздухом и улыбаясь. Взяла другую сигарету.

— Но тебе интереснее, что было дальше, потому что ты знаешь, что я не страдала, потому что на самом деле я не любила его. Потому что, кроме тебя, я ни к кому не могу сильно привязаться. Но в тот вечер мне было весело с ним, мы дурачились, терлись

кожей, целовались и все такое, я почти полюбила его, но не так, как тебя, а по-другому. Вот он подумал и ушел, а я закрыла за ним дверь, и стало так тихо-тихо. Ни единого шороха. Мне дико хотелось спать, но почему-то было страшно ложиться. Чем дальше, тем страшней. Вообще и в комнату не могла войти, в прихожей так и сидела. Наверно, потому что если бы я легла в постель, мне сразу бы захотелось секса. Мы сто лет постельное не стирали, вся постель пропитана его потом. Ну, тогда была, ты не волнуйся, я все перестирала перед твоим приездом, так что ты сможешь нормально спать. Слушай, я села на пол, и думаю, что буду ходить на работу, чтобы покупать хавчик, и питаться, поддерживая силы для работы. Очень-очень долго. Всегда. А если кто-то появится в моей жизни, то это снова будет Игорь, потому что на большее я не способна. Даже если его будет звать по-другому. Даже если что-то изменится, все будет так же. Или хуже. А кушать я не очень люблю. Я посчитала всех, кто имеет ко мне какое-то отношение, и решила, что если это их и выведет из равновесия, то ненадолго. Я решила, что ничего не теряю.

Она снова отвернулась.

— Даже тебя, потому что моя любовь не умерла бы со мной. Она жила бы дольше нас всех. Ладно, я опять не о том. Я набрала воду в ванну, лезвия я не нашла, но был этот ножик, Игорь его очень хорошо наточил недавно, я им мясо резала и кур разделывала. Ну, легла в ванну и разрежала... Ну, ты поняла. Странно, но мне совсем больно не было, ни в душе, ни так. Я думала, что это страшно, больно и тяжело, а оказалось — легко, я не думала ни о чем, лежу, жду. Или я все-таки была пьяная? Но я не помню, чтобы что-то пила, а пиво мы совсем в другой день пили, я перепутала, это было где-то за месяц, чудесный был денек, мы напились и занимались любовью, все было о'кей. И пиво не могло так в голову дать, чтобы боли не чувствовать. Слушай, не реви ты, я же объясняю, что я не страдала. Потом пришла соседка. Дверь я по дурости открытой оставила, чтобы не ломали потом. Квартира же не моя, и так лажу бабушке сделала бы, но я так прикидывала: по той цене, что она нам ее сдавала, каморку бы эту сняли, хоть бы здесь Чикатило орудовал. Слушай, она так визжала, ты бы слышала. Но скорую вызвала. Потом в больничке побыла, ко мне там нормально относились, к психу сводили, к психиатру.

Но он, придурок такой, решил, что я нормальная. Слушай, спрашивает... А, ладно, хрен с ним, со всем, может, лучше гулять пойдем? Что мы, весь день взаперти просидим?

— А твоя мама?

— А что мама, откуда ей знать. Мы же не общаемся. Я молчала, как Павлик Морозов, ее сразу не нашли. Не знаю, может, она и узнала потом, они же все болтают, ты же узнала. Ну, тогда она может торжествовать. Это только подтверждает все ее соображения на мой счет.

— Нет, не понимаю. Какая бы она не была, но... мама! — Катя встала и на цыпочках подошла к Ленке. Та не повернулась к ней. Катя погладила Ленку по голове и прошептала: — Дурная ты, Ленка!

— Ой, только не надо! — закричала Ленка в ответ. И опять закричала: — Не надо, не надо.

Катя била ее по щекам, брызгала в лицо водой, но Ленка только шурилась и кричала все то же, и не могла остановиться. Кате не было страшно: это была с детства знакомая ей Ленка, наоборот, Катя сразу успокоилась и больше не хотела плакать; делала что-то реальное, чтобы справиться с припадком подруги — брызгала водой.

Крики разносились под потолком и, наверное, слышны были соседям. На улице стало совсем сумрачно от воды, даже машины включили фары, свет одной случайно упал в их окно, а потом исчез. Талая масса облепливала стекло, стекала и падала вниз, разбиваясь с грохотом.

Потом истерика прошла, Ленка только бубнила сквозь затаившие рыдания: «Нет, он решил, что я нормальная, придурок, я мало того, что скрытая лесбиянка, я еще и...»

Через пять минут она уже от души хохотала над своим предложением пойти погулять — до искр в глазах.

— Слушай, может, музыку послушаем? У меня все та же кассета.

— Ленчик, я совсем забыла, я же конфеты тебе привезла.

— Какие конфеты? Грильяж?

— Ну, а что еще я могла тебе привезти.

— Так тащи сюда, я тебя обожаю!!!

Катя, порывшись сумке, достала плоскую коробку, бормоча:

— Как я забыла, надо же с чаем было...

— Надеешься, я так не съем? Да ты меня совсем не знаешь до сих пор. Ты, главное, не забывай, что за фигурой следишь, и тебе много шоколада...

— Вредно для зубов!!!

Пока Катя распечатывала конфеты, Ленка крутила колесико старого приемника, меняя частоты. Разнокалиберные мелодии на скакивали друг на друга на ползвук, без смысла. Ленка, видимо, не собиралась останавливать прерывистую какофонию. Она крутила, крутила, крутила... до упора вправо, до упора влево, не находя ничего себе по вкусу. Катя тоже не спешила, плавно стягивала с коробки пленку, вспоминала случаи из их детства — отрочества.

В школе Ленка всегда у нее списывала, благо одна парта, и она охотно давала списывать. Ленке это позволяло плавать между тройкой и четверкой. Один раз Ленку вызвали к доске на математике, какое-то длинное уравнение, уже в серьезных классах. Всем на удивление, она не растерялась, а с ожесточенной радостью приступила к работе: писала вполне уверенно, писала, писала, пока не окончила и не сказала «Вот...», со сдержанной усмешкой отойдя в сторону, чтобы никому не закрывать доску.

Математичка — неплохая тетка — посмотрела, вздохнула:

— Коробова, тебе надо будет хорошо поработать до конца года. Вы же знаете, что у вас экзамен.

— Неправильно?

— Конечно, неправильно.

И тихая Ленка, вместо того чтобы как можно незаметнее сесть на место, вдруг принялась доказывать свою правоту. Разумеется, у нее все было не так, Катя знала об этом с самого начала, потому что у самой в тетради все получилось прозрачно и просто, и математичка, ходившая между рядами, заглянув, улыбнулась улыбкой Джоконды. Катя грызла ногти — ей было стыдно за Ленку, а та все доказывала и доказывала, со своими плюсами и минусами, с общими знаменателями, и, самое страшное: непонятно было, где ее ошибка. Уже математичка чуть не грызла ногти, потому что не могла ничего противопоставить Ленкиному решению, найти прореху в Ленкиной логике, ткнуть лицом в ошибку. Логика была, в каждом действии — какая-то другая, неправильная. Но неуязвимая.

В конце концов, математичка сказала просто, без уверенности в голосе:

— В математике так не делают.

А экзамен Ленка написала на 4.

Катя не могла быть рядом — рядом была математичка. Стояла, якобы глядя в окно. Никто математичку с Коробовой и не пробовал уличить, потому что не было ни симпатии, ни денег, ни конфет, ни даже цветов. У математички не было мотивов.

— Фигню всякую крутят, — радостно сообщила Ленка, но приемник не выключила, конфеты она могла есть и под фигню.

Кате сладкого не хотелось, она только смотрела, как ее Ленка жадно запихивает грильяж за щеки, резким смехом иногда прерывая невнятное бормотание:

— Он мне это все втирает, а я ему отвечаю, что, где находится мой папуля, и матушка имеет смутное представление, а то она бы расстроилась, верю, да только уже в последний раз, а так она расстроена из-за меня перманентно. Расстроилась бы, а потом и помирилась со мной заочно, я-то уже не возникала б, думаю, мы виделись бы не реже... А он мне: такая логика у детей от тринадцати до семнадцати, а ты взрослая женщина и до сих пор прибегаешь к наивным методам, пытаешься продемонстрировать матери свою значимость. А уже сама могла бы быть матерью. Ну конечно, о чем еще мужики могут думать! Я ему говорю, что меня гражданский муж бросил и мне нечем платить за квартиру без его зарплаты, поэтому я и решила покончить с собой. Потом он мне голову морочил, а я ему говорю, что деньги несомненно найду и чтобы он меня оставил в покое, и он вздохнул и оставил. Слушай, какие у тебя глаза сейчас красивые, безграничные, я обожаю тебя. Как у обкуренной глаза, — (смех). — Слушь, Катька, уже десять! Кафе на углу открылось — может, пойдем, а может, кого из наших встретим. Сто лет никого не видела. Знаешь, мы теперь редко встречаемся, у каждого своя жизнь.

— Я ни по кому не соскучилась. Да и с чего ты взяла, что утром там кто-то будет?

— Ну и что, пойдем куда-нибудь. Терпеть не могу в этом месте сидеть.

— Идем.

И они пошли. Спустились по ступенькам, вышли на воздух, вышли на дорогу и пошли.

Чтобы отвлечься, Катя рассказывала о себе. Периодически ей так все надоедает, что хочется бросить и учебу, и Вадима, вообще хочется утром не вставать, эти погоды, и светаает поздно... Бывает, так и делает: спит до девяти, потом полчаса стоит в душе, потом долго и тщательно красится, долго и тщательно одевается и уже к последней паре приезжает в университет с красивым макияжем. А иногда классно на лекциях, это совсем не то, что школа. Но работать же надо, а лень. Купила себе платье шерстяное, умопомрачительное, но в нем не ехала, побоялась, что в поезде испортится — провоняется. Водила Вадима на выставку Рериха, он, конечно, делал вид, что ему нравится, сам зевал в кулак.

Ленка слушала с внимательной полуулыбкой, потом сама заговорила — в ее жизни ведь и другие события происходили, с тех пор как они не виделись. Купила кассету с полностью обезбашенной музыкой, то, что надо, но послушать не даст, украли в киоске или потеряла. О некоторых парнях, на первый взгляд не выглядявших сволочами, но она же их насквозь видит. О том, как чуть не устроилась завсклада, по знакомству, с огромной зарплатой. О поэтических журналах начала девяностых, найденных в бабушкиной макулатуре. О фильме, который точно про нее, с Джонни Деппом. О хозяине киоска, который сволочь почище всех остальных. О новых ценах на картошку.

С неба все еще текло и сыпалось, и эта белибердень отражалась в их глазах, а они слонялись по улицам, не смотрели друг на друга, заговаривались.

— Слышь, Катюш, пойдём в парк. Помнишь, прошлой весной как классно там было.

— Пойдем. Только трамваем.

Они побежали, и смеялись, а на остановке к ним подплыл грязный BMW, блестящая голова высунулась из-за темного стекла и невнятно предложила подвести, в холодном воздухе распространился крепкий запах одеколона, а они все не могли отойти от смеха, Ленка, задыхаясь, говорила:

— Но ты же лысый, а я сегодня предпочитаю одних брюнетов.

— Рыбка, да я самый брюнетистый брюнет, как зарасту.

— Не верю, у тебя ресницы белые.

«Наверняка водила», — крикнула Ленка в ухо сквозь шорох снега. Они заскочили в подкативший трамвай и захохотали на весь

вагон, глядя, как медленно разворачивается «бумер», все было серым за покачивающимися грязными окнами, их руки без перчаток, сжатые вместе так сильно, что сводило мышцы, тоже были серыми. Только носы и уши покраснели от холода, и в таком виде они отражались в забрызганном стекле поверх городского ландшафта.

Трамвай громыхал всеми частями, не стыкующимися, сиденья подпрыгивали, кондукторша даже не удостоила их своим «за проезд», подошла, как измученное приведение с протянутой рукой. Они улыбались друг другу и свободными руками убирали с лиц намокшие под снегом волосы.

Парк тоже был серым и пустым. Одна замерзшая собака увязалась следом, а у них не было ничего для нее, ни крошки еды в кармане.

— Я тебя люблю по-другому, совсем не так, как их, — бормотала Ленка, — мы по одну сторону баррикад. А они, мужики, по другую, мы все равно враги с ними, даже если вместе с ними. Все равно, за них или с ними приходится воевать. Вот Вадим твой, я не спорю, он красавец у тебя, но что тебе с него? Зачем?

— Ну и что, — еле слышно ответила Катя, глядя на месиво под ногами: вода, лед, гнилые листья, земля, снова листья.

— Я тебя люблю совсем по-другому, потому что я знаю, что мы не можем предать друг друга. Невозможно. Даже если очень захочешь. Мне хорошо оттого, что ты есть. Мне этого достаточно.

— Достаточно. Но ты сердись на меня? — Катя глянула быстро исподлобья, с надеждой. Невозможно предать — значит, не было, не предавала.

— Ты на меня тоже.

— Знаешь что, на тебя-то есть за что сердиться.

— Я не хочу, чтобы ты выходила замуж.

— Здрате, приехали, это тут при чем? Я, пока не доучусь, и не собираюсь. Но о будущем думать надо, сейчас нам двадцать один, когда-нибудь придется и взрослеть.

— Я бы хотела быть деревом и не думать о будущем... — Ленка схватилась за низкую ветку и зажмурилась. — У меня нет никакого будущего. — Катя только открыла рот, но Ленка раньше перебила ее: — У тебя есть, я знаю, и за это я люблю тебя.

— Хватит трепаться, мы вместе, давай веселиться уже наконец, видишь карусель? Идем кататься, Ленка, идем, милая моя, пошлем все на фиг.

Они раскрутили старую скрипучую карусель, покрытую жидкоржавым налетом, и та полетела — едва успевали перебирать замерзшие пальцы на кольце в центре, смотрели друг на друга, опять хохотали, громко и до слез. Смех тревожно разлетался по тихому парку, между косыми деревьями, с которых мокрые хлопья сбивали остатки листьев, по лужам.

— Я буду петь! — крикнула Ленка.

— Что?

— Про танки...

Они завыли вместе:

*На поле танки грохота-а-али,  
Солдаты шли-и в по-оследний бой,  
А молодо-о-ого генера-а-ала  
Несли с пробитой головой.*

*Нас извлекут из-под обло-о-омков*

*(Хрен нас кто извлекать будет)*

*...отец,*

*и молода-а-ая не узна-а-ает,*

*какой у парня был*

*(Перестань!!! Не смешно, просто конец!!!)*

*коне-е-ец...*

*Там в глухой степи-и-и*

*умирал ямици-и-ик...*

*замерза-а-ал...*

Грязный ветер подвывал, хрустел ветками. Они почти ничего не видели слезящимися глазами: размытые пятна счастья вместо лиц, черные пятна ворон, что поднимались под глухой рокот крыльев, перелетали на другое место. Небо уже почти высыпалось на них. Их засыпало, но они горланили громче:

*Четыре тру-у-упа возле та-а-анка*

*Дополнят утренний пейзаж...*

*Как простор степно-о-ой*

*Широко — ве-е-ели-и-ик...*

*Там в... в... да нет,*

*замерза-а-ал ямицик...*

*И не придет погостить...*

*С тем, кто-о-о по сердцу,*

*Обвенчается!*

*Телеграммы...*

— Смотри! — кричала, размазывая намокшую тушь.

— Я отпускаю!

— Давай!

Они разом разжали покрасневшие руки и запрокинули голову, небо в спутанных нитках веток завертелось юлой, и они заорали во всю глотку, вспугивая птиц.

Крик резко оборвался. Лица обмякли, головы повисли обессилено. В открывшиеся рты падал снег. Они не отрываясь смотрели вверх, как в большой глаз, гипнотизирующий, вращающийся в обратную сторону до тошноты, пока в карусели медленно затихало движение.

Сбитый криками лист бесшумно спускался и, спускаясь, отражался в воспаленных глазах плешивой собаки, что смиренно сидела под снегом, на уважительном расстоянии. Они одновременно посмотрели на собаку, а она на них не смотрела, она смотрела прямо перед собой, но было ясно, что думает только о них, о возможности еды, и не перестает еще надеяться. Ленка скривилась, как от боли.

— Вроде мы еще не пьяные, а орем на весь город.

— Как в «Алисе в Зазеркалье», — кивнула Катя. — Напьемся вечером, а орем сейчас. — Голос звучал неуверенно, но она говорила то, что сказала бы в такой ситуации, в любую из их многочисленных встреч.

Ленка достала из кармана пачку, вытряхнула две сигареты, молча протянула зажигалку. Катя заметила, что у Ленки руки не дрожат — у самой дрожали. В своей шубе она замерзла сильнее. Пепел опадал вниз и плыл, закручивался в водоворотиках.

— Давай что-нибудь купим ей, а, Лен? Я не могу так. Ждет ведь.

Они посмотрели на собаку. Докурив, пошли по дорожке, но все торговые точки парка были закрыты — поздняя осень, они ходили от одного знакомого местечка к другому, и нигде ничего не было, а потом и собака пропала из виду. Устала таскаться за ними.



Катя отворачивалась, но было видно, что она плачет, Ленка обняла ее, задрала голову и сказала:

— Смотри, на небе ветер. Как облака несутся. Что же будет, что же будет дальше, а? Наверно, град. Посмотри, такой цвет у тучи, точно град будет. Интересно, что же будет?

— Может старость, а? — промямлила Катя.

Эта мысль понравилась Ленке.

— Когда я буду старая, — сказала она, — у меня будет своя квартира, и я буду ее сдавать идиотке.

— А сама где будешь жить?

— А? В богадельне.

Они вяло усмехнулись, но очень скоро развеселились снова: им, оказалось, непременно нужно поесть мороженого в кафе, в честь встречи.

Парковые кафе наглухо забиты, в уличных мороженое только в пачках. Наконец повезло, нашли уголок в захудалом гастрономе, не переоборудованном, кажется, еще с советских времен. Так называемый кафетерий — возле прилавка два столика, рай алкаша. По полу бегали мелкие тараканы, но зато было тепло.

Мороженое плавало в пластмассовых вазочках с подпалинами. В мороженом плавали кристаллики замерзшей воды. Им это нравилось. Как в детстве, когда, тайком от родителей, в таких же местах, зимой, они быстро-быстро глотали мороженое, чтоб заболеть вместе и валяться, читать книги вместе.

— У вас есть пепельницы? — спросила Ленка у продавщицы.

Катя поморщилась, ей надоел вкус дыма во рту, ей хотелось быть как ребенок с мороженым. Ей не нравилось, что Ленка столько курит. Промолчала.

— У нас не курят, — отрезала продавщица.

Стучало. Увлекательно стучали сердца, ложечка — о вазочку, а зубы — в ознобе, и в такт стучали каблуки домохозяек, зашедших купить хлеба, и часы на стене, и костяшки негнущихся пальцев, и градины за окном, и веки — смыкаясь и размыкаясь.

Влажный холод проникал к костному мозгу, они расслабились, позволяя себе мерзнуть; сумрак летал вокруг сгустками, кому-то в стакан лили разбавленный томатный сок, небольшая группа не связанных между собой людей зашла укрыться от града, женщину передернуло при виде таракана, ползущего по пирожному,

а потом у нее начался приступ, и она упала, но им было слишком спокойно, а в ушах слишком гудело, так что они не заметили, как и остальные.

Позже они сорвались с мест, пошли в серый город, под осадки.

По скользким улицам, вечно за угол или в переулок, где гурдами мусор; под арку и снова на улицу, заходя по пути в магазины, в которых зрачок не ловит ничего, кроме теплого желтого света, стекла. Где сладкий гомон. Громко смеялись нелепым мужским трусам, зеленой футболке за 199 долларов, не стесняясь грустных враждебных продавщиц. Покупали мягкие от жира пирожки у бабульки. Не размыкая рук, как идущие на первую линейку первоклассницы. Промочили ноги. Им было хорошо говорить.

Домой вернулись продрогшие, мокрые волосы — как змеи, с них текла вода.

— Тепло...

— Да, ух, да, тепло, полезли под одеяло.

— Полезли, кстати, ты намекала, у тебя что-то выпить есть, сейчас самое время.

— Есть водка, половина, нет, здесь даже больше, есть сок, можно смешивать, можно нет.

На раскладном диване, который Катя еще никогда не видела сложенным (Ленка с Игорем вечно валялись на нем и, не стесняясь, целовались) они вдвоем спрятались в одеяле, съежились, дрожа, но не выпуская стаканов с разбавленной водкой из рук.

— За усталость, — шепнула Ленка.

— За усталость.

Включили телек. Стаканы наполнили заново.

— Ребенков нам надо, вот что. И тебе, и мне. А то загнием мы... Сгнием... Только от кого бы? У тебя, правда, этот, Вадим... Но от него не рожай, он не подходит.

— Куда тебе! Ребенков еще. Ты пей, пей. За нас с тобой. И мне куда. Пожить надо сначала. Выдумала... Ребенков.

— Я о жизни говорю! Сама говорила — нам двадцать один год. Это, скоро. Только их кормить надо, этих детей, — зевнула, глотнула. — Почему бы не жить просто... Не есть... Не хотеть... Жить

лучше не получается, почему бы не жить просто... Жить не получается. А второй раз я не смогу...

— Ты что, рехнулась, блядь, идиотка!!! Второй раз! Вообще съехала? Как ты можешь даже так думать, как ты можешь мне говорить! У меня голова раскалывается от этого, мне плохо станет! Я только забыла, у меня только настроение исправилось... Ты нужна, неужели ты не понимаешь.

— Уже и тебе плохо. Да перестань ты каналы менять, оставь хоть один! Любой! Брось пульт! — Она выхватила у Кати пульт, засунула под одеяло, откинулась назад и глаза опять стали глубже, чем нужно. — Стакан бери, давай. Давай, за остальных. Про Натку Соловей знаешь?

— Да, она замуж вышла.

— Устаревшие сведения, разбежались уже.

— Да ты что?

— Родила и развелась. А я все равно ей завидую. Свадьба, цветы... ты подумай... дитя... Ну а потом уже, это такое дело. Я думаю, так даже лучше — замужем побыть и развестись. Ребенок есть и никто над душой не висит.

— Да уж, лучше не придумаешь. Как твоя маман... — поздно прикусила язык.

Но Ленка восприняла нормально.

— Моя матушка — просто идиотка, мы бы все то время могли быть счастливы с ней, если бы она не была такой прибабацанной, а денег нам хватало... Смотри, кино! Давай смотреть это кино? Ой... — Она потеплее укуталась. — Хо-холодина.

— Ничего не холодно, — причитала Катя, добавляя в стаканы по глотку сока и встряхивая их. — У тебя здесь хорошо и уютно, просто здорово.

— Я знаю, знаю.

Они досмотрели фильм до конца, в конце рыдали с завываниями и антистрофами, как в греческом театре, но вдруг увидели, что на улице стемнело и валит тяжелый настоящий снег, розоватый в свете фонарей, и на часах десять минут шестого. Ленка заорала трезвым и бесслезным голосом:

— Мать вашу, Кать, мне на работу!

Они одновременно посмотрели на пустую бутылку из-под водки. Ленка хмыкнула:

— А я в таком виде!

— Ты должна поесть. — Катя говорила так, как когда-нибудь будет говорить ребенку, своему.

— Там еще есть немножко сока? Господи... Пойду душ приму, хоть чуть-чуть очухаюсь.

Катя зажала уши, когда услышала крик из ванной, и сквозь ладони — заглушенный собственный крик. Дрожа, засмеялась над собой, ясно же, что это просто холодная вода, Ленка протрезвляется, и правильно делает. Хоть бы с ней ничего не случилось в дороге.

Ленка вышла совершенно мокрая, но замотанная в полотенце. Она принялась быстро, как попало, одеваться, из-за дивана вытянула скрученные трубочками несвежие колготки, натянула еще влажные после прогулки джинсы и другой свитер. Ни майки, ни лифчика.

— Кран открыла... Думаю: это кипяток хлещет, а это холодная такая. Ух, лед. Катюш, поставишь чайник, я что-то совсем опаздываю уже, там термос голубой, ну, серенький такой, потому что я совсем не успеваю.

— Расслабься, сейчас заварю я чай. Куда летишь так.

Ленка так и не поела, ушла. Сначала Катя слушала, как глоснут шаги в лестничных пролетах, и блеклыми вспышками в сознании — последнее Ленкино движение перед уходом: натягивает ботинок на вторую ногу и почти на ходу шнурует, смотрит сквозь волосы, говорит и улыбается, но голос уже исчез, когда она ушла, а изображение осталось на радужках, вопросом или задачей, которую нужно решить.

Когда удаляющийся цокот каблучков завершился хлопком подъездной двери, Катя подошла к окну. Проследила за семенящей темной фигуркой, искривленной волнами ветра со снегом, пока та не скрылась в арке. Прижалась лбом к черному холодному стеклу, и показалось, что ее отбросило назад, порывом ветра. Слишком тихо. Она сто раз ночевала здесь, но не одна, а Ленка с Игорем болтали, кажется, даже во сне. Она вспомнила Игоря, но почему-то не чувствовала больше злости. Почему-то его было жаль. Узнал он или нет?

Глухая пустота спустилась под ребра, а снаружи — ноябрь, метель, шум. Страшно шевелиться. Страшно издать звук. Алкоголь растаял в организме, как снег, брошенный в воду. Она на-

стороженна. Слишком трезвая. Она, впервые с того момента, как увидела Ленку через вагонное стекло, остро чувствует себя самой собой. И ей кажутся отвратительно фальшивыми все эти слова: «я тебя люблю по-другому», «ты мне очень нужна», «они нас не достойны», мысли и сигаретки.

Пудель бежит к подъезду сквозь снег, натягивает поводок. На подоконнике зеленая тетрадь с надписью “BEVERLY HILLS 2010”, которую Ленка сунула перед уходом. Ее стихи. «Можешь посмотреть, если скучно будет. Последние». Пора бы ей уже совсем последние написать. И не маяться этим больше.

Катя до сих пор не умывалась с поезда, даже рук не мыла, хотя Ленка ей говорила, но Ленка сделала вид, что не заметила, что она избегает заходить в ванную. Очень хотелось есть, но есть было бы нечестно по отношению к Ленке. Вот принять душ — это будет на все сто процентов честно. Там. Катя выключила свет во всей квартире, включила в ванной. Разделась, не отрывая пристального взгляда от отражения в большом щербатом зеркале. Между бровей застыли две морщинки. Распустила волосы. На облупленной батарее сохли трусики. Мочалка и мыло лежали под зеркалом. Катя вспомнила, что оставила свою зубную щетку в сумке. Теперь поздно. Так же раздевалась Ленка тогда. Так же безмятежно. Зачем Ленка раздевалась, если все равно? Может, она еще зубы почистила перед? Наверняка почистила.

Поставила босую ступню в ванну. Холодная эмаль. Повернула краник. Брызнула вода.

Одно дело — в истерике полоснуть лезвием по венам, другое — резать их ножом, которым режешь хлеб или курицу, распаривать жилы так же, как распариваешь их курице, собираясь зажарить. Что-то в этом... Не сходится, как у полицейского в детективе. Жаль, что не будет разгадки, доказывающей невиновность подозреваемой.

Катя не пыталась вырваться из оцепенения, она медленно намыливала волосы вонючим шампунем, терлась мочалкой, оставляя красные следы на распаренной коже. Это необходимо — вымыться здесь, то ли смыть с себя что-то, то ли доказать, что здесь можно просто мыться, потому что ничего не было.

Пока по ней стекала горячая вода, за бетонными стенами летел холодный снег, снег до самого Ленкиного киоска. Там бьется снег

в тонкие стены металлической коробки, хочет достать, но внутри коробки холодно и безветренно, покой. Маленькая коробочка света с пестрыми этикетками в ревушем море метели. Если только не опрокинет киоск... Снег. Связь. Снег — это Новый год, это счастье и шампанское, это их с Ленкой встреча.

Закрутив кран, хотела вытереться, но не успела до того, как увидела коричневое запекшееся пятнышко, ведь знала заранее, что увидит это пятнышко, знала, потому боялась заходить. На самом краешке, там, где пожелтевшая эмаль заворачивается, в тени от подвешенной клеенки. Никто не думал, что и туда брызнуло. Его не заметили, не смыли, и вода не доставала туда, когда работал душ. Разумеется, ванна была тщательно вымыта после того: сама Ленка, с перебинтованными руками, в перчатках, самым едким моющим средством, под нос себе бубня слова психиатра, который решил, что она вменяема. Или подсчитывая заработанное за прошлый месяц продажей жвачек.

Катя намочила край махрового полотенца в воде, которая не успела стечь со дна ванны, и стерла пятнышко.

Теперь никаких следов. Ничего.

Растерлась тем же (единственным) полотенцем, накинула халат, который привезла с собой. По телеку было такое, как всегда — мелькание. Она медленно разложила оставленную Ленкой постель в застиранный цветочек. Залезла под одеяло, поджала ноги.

Оставалась тетрадь. Катя открыла ее, не выключая телевизора. Сегодня легче, чем всегда: чувствовала, что не будут раздражать ни орфографические ошибки, ни сквозящие в текстах нелепые Ленкины отношения с мужчинами. Прежде чем перевернула первую страницу, в голове пронеслась мысль, неуловимо быстрая: она, завидуя Ленке, всегда пыталась ее повергнуть (опровергнуть?), но теперь, когда Ленка более чем повержена, можно просто читать ее детские стихи, не выискивая дефектов. Катя даже не попыталась разобраться в странной мысли, с чего бы ей завидовать Ленке, если, напротив, она всегда чувствовала вину за свое благополучие, с чего бы желать зла. Ведь вслух все равно ни разу не критиковала.

Сначала была проза.

*Я хочу быть ангелом.*

*Не веря в загробное существование, как и в свою чистоту, я хочу другого: иметь крылья. Сейчас принято петь о крыльях в попсовых песнях. Впрочем, эти крылья — творчества, любви или какой там еще херни, меня не интересуют. Мне нужны обычные крылья, из костей, мышц и кожи, покрытые перьями с пухом, имеющие собственную массу, но только не искусственные — живые, связанные с моей системой кровообращения. Чтобы выросли прямо из основания лопаток и никогда не отделялись от тела.*

*Ангелы не летают. На крыльях не поднять длинного вертикального тела. Ангелы ходят по стратосфере, и ноги у них всегда босы, а ступни длинные-длинные, и ногти длинные, и ногти светятся. Ангелы не летают, но они настоящие. На них белые рубахи, которые, как и крылья, части их тел, по которым тоже пульсирует их чистая минеральная вода вместо крови. Глаза ангелов всегда закрыты, и белые ресницы отбрасывают пушистые тени на щеки до самого рта, они улыбаются и идут, идут, идут. Их пути нет конца на шаре-стратосфере, и им нет счета. Ветер им не мешает, только поднимает ледяные волосы, и мы принимаем их волосы за перламутровые облака. Иногда что-то стучит в их сердца, и они растопыривают большие прозрачные ладони, ловят частички вулканической пыли, очень им чуждые, от этого им бывает больно в душе, ведь руками они не чувствуют боли. Тогда они плачут снегом, тихо-тихо. И потом, ангелы ведь бесполы.*

*Я схожу с ума от тоски при мысли о том, что мне никогда не быть ангелом и не носить настоящих плотных крыльев. Моя скорбь разрушает меня, я хочу быть ангелом, немым ангелом, ангелом с большими белыми ресницами, ангелом с бледными веками и губами. Я скоро умру, так и не побывав ангелом.*

Катя перевернула страницу.

*Что-то помимо меня  
Ищет выход во мне.  
Оно говорит в полусне,  
Что может быть выход в окне.*

*Застывшие губы саднит,  
Волосы липнут ко лбу.  
Мне так нельзя больше быть,  
Я может быть скоро найду.  
Спокойствием полна стена,  
Руки лежат на столе.  
Мне слышится гулом в ушах,  
Как что-то сгорает во мне.*

За проезд

*Как жутко едет маршрутка  
По тем, кто сидит в ней.  
В визжащем тормозе слышен  
Скрип их жил и костей.  
Красный свет светофора  
Пережигает зрачки.  
Не орите, кто хочет выйти —  
Вам не позволят уйти.  
Всех, кого укачало,  
Кого удушает бензин,  
Довезут от начала к причалу,  
И сбросят в осколки витрин.*

Катя усмехнулась: конечно, трамваи лучше и дешевле.

Стихов было не очень много, десять-пятнадцать; за полчаса прочитала их все. Не пытаюсь открыть корней Ленкиного поступка. Попытки суицида. В любых стихах, кроме патриотических, можно при желании найти какие угодно корни. И, как любые стихи, Катя их прочитала еще раз.

Ветер усилился, бил в окно снегом. Не уснуть — постель чужая. Щелчок выключателя.  
Закрывать глаза.

Сейчас Ленка где-то далеко, одна в сплошной белой массе. Ей холодно, у нее болят запястья, но она упрямо сидит, упершись подбородком в кисти рук, королева жвачек среди пестрогохлама, в тупой полудреме уставившись в окошко, не думает ни о чем, а когда стучат из снежной бездны, молча подает то, что просят, и молча пересчитывает деньги.

Ей там страшно хочется спать, Кате — не хочется. Она там курит свои приторные мерзкие сигареты, чтобы унять сон и боль в руках.

Катя вытягивается на чистой простыне красивым тонким телом, панически боящимся материнства, но втайне жаждущим жертвы.

Почему всегда «Ленка», в лучшем случае «Ленусик»? Не «Елена», не «Лена», не «Аленушка». Катя так безвозвратно привыкла, что не способна даже мысленно назвать ее другим именем.

Иногда Катя удивлялась преданности Ленки. Она не находила в себе ничего, что могло бы вызвать к жизни эти длинные смятенные письма, то нежные до сальной улыбки, то грубовато-пошлые. Так можно писать только из этой беспросветной каморки или из киоска: со стихами, обрывками газетных статей; с преискуррантом базарных цен и случайными цитатами. С бесстыдным отчаянием. Бесстыдным — потому что, когда Катя пыталась Ленке отвечать в том же духе, ломалась от стыда на полпути: то надумывала себе фальшивые экзистенциальные проблемы и описывала их страстно, то, когда проблемы в самом деле были, или просто депресняк, пряталась за маской благополучия.

Письма от Ленки приходили регулярно, раз в две недели — фантастически при ее непостоянном характере. Бывало, Катя писала каждый день. Бывало, молчала месяцами. Потом оправдывалась сессиями и курсовыми.

Странная дружба. Ни общих интересов, ни, со временем, общих знакомых. Катя уже плохо помнила их компанию, путала имена. Недавно случайно встретила одну девушку и не вспомнила, она Лиля или Лида. Эта Лилия-Лида-то и рассказала... Катя и Ленка виделись все реже. Но с каждым годом становились все ближе сквозь письма. Намного ближе, чем когда сидели за одной партой.

Значит, было у них что-то общее. Какая-то роднящая ущербность, не так заметная в ней самой, как в Ленке. Раздраженность происходящим. Поиск альтернативы. И если никакой нормальной альтернативы в обозримом пространстве нет, поиск любой: нелепой, мертвой. И упоение нелепостью. Так можно загонять себя все дальше в угол или возвращаться к исходной точке, точке невыносимого раздражения. Кате приходилось возвращаться, и жизнь

ее была похожа на черчение кругов с помощью циркуля. Ленка не возвращалась.

Уткнулась лицом в подушку. Снаружи все гудело. Пурга. Как будто проходит через череп. Стихи эти, всё пурга. Надо спать, спать и не пробуждаться.

Только придумать, что делать с Ленкой, куда ее деть. Трудно, потому что у Ленки дурная страсть все делать назло: и внешнеостью не обижена, и умом, но ей как будто нравится пренебрегать, позволять себе все, не стремиться. Господи, у нее бы хватило способностей выучиться, даже, может быть, на журналистку или на переводчицу. Хоть на бухгалтера, хоть на швею, ну нет бабок, ну с родаками проблемы, но многие же пробиваются, есть же люди. Нет, киоск — предел ее мечтаний, пошлют — пойдут туалеты мыть, и это будет полный экстаз. Она будет ходить без шарфа в мороз, но потом глотать столько лекарств, всякой дряни, что рожа прыщами покроется, она бы так и написала: «Рожа прыщами покрылась». Она будет есть скисший борщ, чтоб не выливать — жалко, а потом блевать в туалете и плакать. Что блюет без водки. И суицид. Это только продолжение, она не хотела умирать, это очередной эксперимент над собой. Все ее поведение...

Если есть Творец, то все ее поведение — открытое хамство в лицо Творцу.

«А я боюсь пропустить, не развить малейший талантик в себе. Боюсь потерять преимущества. Я бы никогда не стала хамить Творцу. Если бы он у нас засветился. Но я смотрю на нее, и меня она приводит в восторг. И мне становится весело. Да-да. Поэтому я не могу без нее. Ее это тоже приводит в восторг. Я прощу ей самоубийство. Это ее правила. Я ей прощаю. Все равно другие страдают. На хера тогда совершенство, английский, интернет...»

Страшно хотелось спать, сладко и уютно, на мягком; здоровье, усталое тело, снег и тепло. Растерянность отступала, она каталась и, не замечая, улыбалась — все-таки очень уютно в этом клопятике.

По городу ездили машины с желтыми мигалками, как абрикосовое варенье в манной каше. Длинными составами стояли троллейбусы: провода обледенели. Наутро объявят чрезвычайную ситуацию (местного масштаба).

— Ау, привет, есть кто живой?!

Сон (весь снег заранее растаял и всосался в землю; солнце было желтым, как желток в яичнице, с неба заполняло лучами пространство, бросало оранжевые отсветы; из подъезда по одному выходили ряженные, Катя на детской площадке залазила на шведскую стенку, все выше и выше, подтягиваясь к отсутствующим перекладинам, на которых за ниточки подвешены игрушки) замер. Открыла глаза.

— Ну и дубарь! — кричала Ленка. — Ты не знаешь, что происходит: трамваи стоят, троллейбусы стоят, пришлось на маршрутке ехать, и то еле втиснулась стоя. Два часа я добиралась. Чуть не опрокинулась маршрутка-то. На горку пиляет-пиляет, а потом ее назад по льду — пшить, и мы все в ней — пшить, но не попадали, потому что плотно стояли, только задних там попридавливало. Раза три так, не держит дорогу и все тут. Нет сцепления.

— Привет, — прошептала Катя, садясь в постели, еще с трудом понимая, где она, но радуясь.

— Поднимайся уже, завтракать. Сейчас чашка крепкого кофе горячего... но зато — красота: деревья обледенели, как мухи в хрустале, и звенят под ветром. В жизни такого не видела, сейчас согреюсь, пойдем гулять. Ну и гололедище, 20 кэмэ в час максимум ехали. Весело, блин, и снегу сверху навалило.

Щеки, уши, пальцы у Ленки были ярко-красные. Катя проснулась бледная. На щеке полоска от смявшейся наволочки. Волосы торчком. Они снова пили чай на кухне (откуда здесь быть кофе?), но сегодня все было лучше, чем вчера.

И снег был твердый, крепкий; синий свет от него попадал к ним через окно, предметы окрашивались нежно-синим.

Цвет, свет, сонливость и бессонная радость — сплеталось в узор.

— Хорошо, сегодня суббота, — сказала Лена, вытягивая на столе обветренные пальцы. — Представляешь, в будний бы так припорошило — пасочки! Боже, как классно дома.

В белом дыму Ленкиной сигареты отражался синий свет.

Придумывали сочинение на французском — в понедельник первая пара у завкафедрой, поездками и простудами не отмажешься, сорри, Ленусик, надо, но мы это будем делать вместе, да? «Si j'habitais à Paris», будем писать «nous habitions»<sup>1</sup>, пусть по-

<sup>1</sup>«Если бы я жила в Париже»... «мы жили» (фр.).

давится, старая гримза, я знаю, что ты не знаешь, ты придумай, я переведу, придумываешь ты лучше — переводила на ходу, как попало, давясь хохотом.

— Мы бы жили в большой квартире, вместе. Мы были бы самыми знаменитыми лесбиянками Парижа. Ты бы ходила всегда в зеленом, такого цвета, ты знаешь, темнее и насыщеннее изумрудного, и глуше. Я — в черном. Ты писала бы стихи и пьесы, я играла бы в театре.

— Не так резво... Я забыла, как пишется... а, фиг с ним!

— Мы ходили бы на премьеры в длинных платьях, и непременно в обнимку — для эпатажа, в зубах сигареты, на головах кепки. Мы бы пользовались одними духами, бешено дорогими, и поэтому нас путали бы французы, у них же всё по запаху. А, все равно, мы б всегда были вместе, где одна — там другая. Мы б то закрашивали веки черным, то вообще без косметики, но никаких пластических операций, и волос бы не красили. Ели б мало, в основном дорогие водоросли, но пили бы шампанское, всех существующих сортов. Только шампанское, больше ничего, ни портвейна. Ни водки.

— Ни самогона!

— Ну, разве иногда, в небольших количествах. И фото, где мы обнимаем друг дружку за талию, свободными руками держим по бокалу, обошло бы все обложки... Мы бы были постоянно пьяны, деньги раздавали нищим. После премьер ехали стоя, в маршрутке... то есть в открытой машине, хотела сказать, пели бы «Марсельезу», размахивая париками, разбрасывая деньги и блестки. Мы бы завели собаку, ту дворнягу обшарпанную, потом выкрасили ей шерсть.

— Сделали химию, чтоб выдавать за редкую породу. Но почему париками?

— И покрыли бы блестками.

— А миска у нее всегда была бы до краев полна шампанским. Она бы привыкла.

— Еще по нам подыхали бы парижские мужики, но мы хранили верность друг другу.

— От такой жизни мы б быстро состарились, сморщились и обнищали, о нас бы забыли все, кроме некоторых верных поклонников, которые оплатят наше пребывание в богадельне... то есть приличном доме престарелых.

— Мы бы стали такими мелкими худыми старушками... с пучками седых волос... морщинками аккуратненькими, светлыми. Мы бы ходили под руку, во второй — костыль, да, гуляли бы по саду, сидели на ажурных лавочках, а по субботам сидели бы в «джакузи». Мы бы щурились мокрыми глазами на солнце, так показывают старушек в импортных богадельнях в кино, дура! Не смешно. И травка зеленая везде, собачки, птички.

— Убегали бы от озабоченных старичков.

— Конечно, мы б так ни разу не изменили друг другу. Я растаяла и спать захотела, в тепле.

— Ну, идем, ляжешь спать.

— А ты?

— А я рядом посижу. Ты Париж по телеку видела?

— Не-а.

Катя запнулась — вспомнила, что не писала Ленке, как в прошлом году ездила во Францию от универа. У Ленки какая-то драма была, не хотелось на этом фоне Парижем хвастаться. Да и чем хвастаться, тот же дождь, что везде.

— Тем лучше, пусть тебе приснится такой, самый лучший. Слушай, может, это как в фантастике: есть другое измерение, и там мы живем в Париже.

— Нет, я не настолько соня, Катюш, ты приехала, а я, что ли, дрыхнуть буду. И так пришлось на всю ночь уйти. Я теперь лучше до понедельника вообще спать не буду.

Ленка заснула почти мгновенно, свалилась не раздеваясь на неприбранную постель, глаза закрыла и улетела. Катя осторожно взяла ее за пальцы и перевернула руку ладонью вверх. Рассмотрела. Стало проще. Когда видишь: ну, порез на запястье, но обычная Ленка при нем, это проще. Дышать легче.

А сначала, когда узнала, не могла дышать. Она никому не сказала, даже родителям. Варилось внутри, расползаясь пятнами ужаса, омертвевшими клетками. Жизнь внешне не изменилась: она ходила в университет, в библиотеку, занималась уборкой и сексом, но при этом была онемевшей от страха, как будто дыхательные пути туго стягивал ремень. Вечерами не уходила в свою комнату. Держа стакан ряженки, неподвижно сидела в кресле, ожидая с родителями выпуска новостей. Ждала, когда камеры мельком скользнут по очередным трупам, под профессиональ-

ные слова комментатора, и как издали слышала какие-нибудь мамини «ну и кошмар», все глубже прячась в своем теле, чтобы не угадывать в невидимых лицах мертвых (показывают всегда так, чтобы не видны были лица) своей Ленки.

Ничего. Порезы уже не страшные. Скоро можно будет спокойно говорить «ну и кошмар» и допивать ряженку. Чужое, понарошку, все это на телевидении делается для рекламы.

Ленка лежит, осыпавшаяся тушь вся под глазами, помада стерлась с губ, только контуры рта еще перламутровые. Почти в улыбке. Катя вытащила из-под локтя зеленую тетрадь. «Я хочу быть ангелом».

После обеда гуляли. Мир изменился со вчерашнего дня. Снег еще сыпался, но ветер утих. Белые хлопья спокойно опускались вниз, а если запрокинуть голову, они кажутся серыми, но видна их бесконечность. Все: дома, столбы, деревья — было покрыто тонким слоем льда, темного, но прозрачного — застыла вчерашняя мокрая жижа.

Но о вчерашнем дне не вспоминали: то, что было вчера сырым, мерзким, безнадежным, застыло в здоровом морозе, стало красивым стеклянным сувениром. Они стали нормальными, здоровыми молодыми девками, у которых вся жизнь впереди. Они играли в снежки, многие играли в снежки. Первый снежный выходной. Все вышли на улицу, повсюду пестрые молодежные компании. Молодые делали вид, что играют в детей, на самом деле с удовольствием играли в снежки. Некоторые лепили снежных баб с младенческим смехом.

Дети тоже сновали повсюду, тоже кидались снежками и лепили баб, но без азарта, точно выполняли положенную работу. Мимо шли на балку семьи с санками. Катя с Ленкой тоже летали там с санками в детстве и пьяном отрочестве.

Людские темные фигуры мелькали в снегу, стоял гомон, и особая атмосфера общего празднования, когда легко, без знакомства, обращаются друг к другу и понимают, о чем идет речь, потому что заражены одной эмоцией, возбуждены одним здоровьем, и отряхиваются одним и тем же жестом от попавших снежных шариков, смеясь. И им это нравилось — перебрасываться парой предложений с посторонними, тоже румяными и улыбающимися: что же обещает гидрометцентр на понедельник, надо же: первый снег, и сухой, и в выходные, это здорово, не в будни, сапоги новые, на меху.

...Стемнело, разошлись многие, не все, но все притихли, говорили, а не кричали, и общность распалась. Темнота спрятала людей, показалось, что тихо и пусто.

Стало прекрасно. Фонари роняли свой свет в ледяные обложки деревьев, и свет преломлялся, раскалывался, бежал, как кровь, по стеклянным венам. Отяжелевшие ветви скрипели под ветром. Ленка поскользнулась на припорошенном льду, и они полетели вместе, потому что держались за руки. Упали, не издав ни звука, хотя в спины больно ударил лед. Светящиеся ветки дрожали наверху; над ветками зависли редкие звезды, не таяли. Всё держались за руки, как родные сестры, и поднимались, только чтобы снова поскользнуться и упасть, лежать, ничего не соображая от удара, пытаться подняться, проскальзывая сапогами, на твердый лед, вцепившись пальцами, рассыпая по льду волосы, смех, снег. Небо взлетало и падало звездной чернотой, каждая сбитая шумом снежинка ложилась на место, но многие таяли в их дыхании, в смешной беспомощности, в ядовитой слюне. Небо взлетало и опадало, небо дышало. Или крутилось. Деревья. Деревья. Деревья.

Возвратились в восемь, а тьма — как полночь. Замерзли, но не тем холодом, что вчера: вчера вернулись домой бледные, сегодня — раскрасневшиеся. Глаза блестели, глубокие, мокрые, со скользящими жесткими тенями под зрачком.

— Морозец! — стучали сапогами, отряхивая снег.

— Кто в ванну первый, греться? Побежали вместе?

Теперь, со вчерашней ночи, когда был стерт последний след, эта ванная комната была признана невиновной. Уплачено. Сейчас они войдут туда вместе, и она окончательно превратится в обычную типовую ванную, отродясь не знавшую ремонта.

У соседей монотонно гудела музыка. Лампы светили во всех помещениях желто. Катя и Ленка забрызгали зеркало, но потом оно запотело. Мыло, растворяя черную тушь, попадало в глаза, визжали от боли. Но когда согрелись, навалилась ватная усталость, они стояли под душем. Тяжелые головы упали на плечи. Глухой шум воды. Влажно и душно, и пахнет детским мылом и детской кожей. В запотевшем зеркале большое море. Замедленные волны.

Насухо вытершись, одевшись, сидели под одеялом, болтали. То вспоминали детство, смешные случаи. То о книгах. Универси-

теты, самоубийства, квитанции за электричество не упоминались. Все это было в другом мире, они — в единственном настоящем.

Не сходились во мнениях, ссорились. Злобно, до драки. Обижались. Мирились, находя компромисс в другой плоскости. В другом томе. Открывали купленную по дороге домой бутылку дешевого шампанского. Опрыскивали комнату Ленкиными духами. Невыносимый аромат роз плыл облаком. Садились над темнотой на подоконник, хохотали. Как обкуренные.

Перед сном Ленка мыла посуду, Кате не разрешала. Катя от безделья курила, сидя на табуретке, и вспоминала вслух их третий класс. Колючие манжеты и стянувшие голову банты. Ленка время от времени кривилась и сказала, когда закрутила кран:

— Ты помнишь, когда я перешла в твой класс и все началось, во втором? Ты очень хотела со мной дружить. Следом ходила, как прилипшая.

Кате был неприятен этот триумф, она раздавила сигарету и фальшиво засмеялась.

— Зато потом ты мне на всю школу репутацию портила. Своими «Чужими» «в постели с Мадонной», где ты только их находила...

— Это позже уже было, тебя тогда тоже историчка за намазанные губы выставила... Хорошее время было.

Катя с удивлением подняла глаза — что хорошего-то? И осеңило: ее золотая Ленка, влюбленная в стопки журналов девяносто второго года и в песни «Наутилуса», она так и осталась в том времени. Пришла эпоха супермаркетов, а она все сидит в своем инфантильном раю, в киоске.

Совсем в другой реальности принимали они к обмерзшему стеклу первого в городе коммерческого киоска, приглядываясь; их шеи кололи еще советские, еще детские шарфы. В маленьком светящемся вертепе, установленном однажды посреди серой улицы, были все чудеса мира: перламутровые заколки, огромные серьги, худые куклы, блестящие кола в пластиковых бутылках, помада, игрушки «лизуны» и «прыгуны», презервативы, которые хотелось распечатать и просто рассмотреть, поддельные сладкие ликеры, шоколадки, жвачки, пластмассовые золотые браслеты, круглые леденцы на палочке, дэзики, капроновые колготки, иностранные бисквиты, французское мыло — все яркое, ароматное и сладкое, в импортных упаковках. И была властительница



с блестящими веками. Теперь Ленка поднялась до заветного места властительницы. Что знали они тогда об охранниках, хозяйках и хозяевах хозяев. Да и что теперь продается? Пиво и сигареты, и вермишель быстрая. О времена, о нравы.

Не выдержали, все-таки расплакались перед сном, без особой причины, для завершения дня было нужно — плакать рядом громко, чтобы из глаз вместо слез скатывался снег. Они сложились, скрутились одинаковыми калачиками, будто это был два раза один свернувшийся человек, а не два, один теплый комок, проваливающийся в мутно-белую ночь. Их плоти стало тепло, а горячие глаза, наоборот, остыли. Во сне они больше не плакали, снова улыбались. Деревья же по-прежнему звенели. Деревья. Деревья.

Воскресное утро разочаровало. Они вроде бы проснулись, но непонятно, для чего, не знали толком, что делать: идти чистить зубы или готовить завтрак, или вообще не вставать, а включить телек. Термометр показывал +1, но белизна на улице еще кое-как держалась, обмякшая. Далеко-далеко внутри, на невидимой глубине, затянутой ряской, они уже понимали, что весь день будут пытаться повторить день вчерашний, вчерашнюю радость; что это не удастся; что вечером они разомкнутся и дверь захлопнется между ними: между двумя отдельными организмами в одежде и двумя способами жизни.

В 21.30 — поезд и вагоны, подпрыгивающие на стыках с каждым разом все выше. Потом. Пока они опять ели.

— Почему ты не позвонила тогда, сразу? — спросила Катя. — Мне бы ты могла сказать.

— Что? Привет, дорогая Катя, как дела, я покончила с собой, но ты не волнуйся, все в порядке.

— Хотя бы так.

Ленка хмыкнула.

Катя смотрела, как отражается и дробится в чае люстра. Потом лицо. Ей не нравилось, что сегодня они говорят об этом, но что толку не говорить, если думаешь, и что толку не думать, если вчерашний хороший день все равно прошел. Его никогда больше не будет. Она продолжала:

— Да, мне бы ты могла сказать. Я бы приехала. — Глотала чай. — Ты бы могла позвонить до того, и я бы приехала, ты бы

выговорилась, выплакалась и не нужно было бы тебе совершать ошибок. Ты не должна была...

— Тихо! — взвизгнула Ленка.

Катя выронила из рук пустую чашку, но чашка стукнулась глухо о пол и осталась мучительно целостной. Не дала удовольствия видеть, как разлетаются осколки.

— Птица, Катя, птица! — продолжала уже шепотом Ленка. — Смотри, птица у нас на подоконнике, а ты так громко говорила. Что я боялась, ты ее спугнешь.

— Тогда зачем сама орала?

— Да, но я просто очень боялась, что ты ее спугнешь. Давай дадим ей чего-нибудь, хлеба.

Эта синица влетела в форточку, открытую из-за беспрерывного Камино курения, быстрее, чем они успели дать ей крошенный хлеб, очумело заметалась по углам, то задевая люстру, то врежаясь в стекло. С глупым упрямством, не останавливаясь ни на секунду подумать или вздохнуть, работая взбесившимися крыльшками, по кругу. Они молча отскочили, замерли и смотрели, как мучается птица. Им очень хотелось, чтобы она осталась с ними. Они должны были помочь ей выбраться, но... Холодный мокрый сквозняк тянулся по полу к босым ногам. Им казалось, они во сне или в бреду, а это было наяву.

Короткое трудное дыхание, когти отскакивают от скользкого, клюв бьется о невидимую преграду, снова разгон... Не получается. Не получается.

Крылья, перья, клюв.

Они так и не открыли ей створки окна. Они, онемев, ждали, но синица вырвалась, нашла проклятую узкую форточку, умчалась в ужасе от того места, а они зря рассыпали крошки.

Стало пусто. Захлопнули форточку. Звук был такой же громкий.

Как через несколько скучных, бессмысленных и тоскливо долгих часов, когда Катя вышла и в последний раз захлопнула за собой дверь. Ленка осталась внутри, не провожала ее. Ленке вредны вокзалы.

Домой.

Поезд тронулся плавно.